

средственностью, не пожелтевший от неврастении тридцатилетний старец с горящими попусту глазами, если бы это был «Антипавел» — наш современник, нравственно высокий, умный, мужественный и собранный человек. Мне кажется, что с помощью Гоши, стараясь принизить нищего «проповедника», а с ним и подлинный жизненный конфликт, автор выступает против Майинога суда над главным героем повести. Та-

кова, на мой взгляд, его главная установка.

Правда же художественных аргументов писателя, отражающих объективную реальность того, что происходит вокруг нас, на стороне Майи. И мы можем поздравить ее — не с «Затмением» по отношению к Гоше — оно не доказано, а с Прозрением по отношению к ее плоскому, но, на мой взгляд, все же высоко чтимому автором мужу.

Камил Икрамов

ДУХОВНЫЙ ПРЕДЕЛ КРОХАЛЕВА

«Затмение» — это повесть о любви:—

Конечно, развитое умение пренебрегать авторским отношением к теме и к выводам его собственного произведения, даже отношение, выраженное таким определенным эпиграфом, как «Мне отмщение, и Аз воздам», или таким четким названием, как «Живой труп», позволяет и к новой, на мой взгляд, одной из самых значительных, важных и сложных, повестей В. Тендрякова подойти с какой угодно стороны. Но сам писатель шел к этому произведению долго и очень последовательно: тут легко проследить результаты исследований, сделанных еще в «Чудотворной», в недооцененной критикой «Находке», в «Апостольской командировке», «Весенних перевертышах» и других вещах, тематически вовсе, казалось бы, далеких от того, на чем проверяется в «Затмении» любовь Майи и любовь Павла.

Как ни туг узел проблем этой повести, нельзя говорить, что она многопланова: о столкновении религиозности и атеизма, идеализма и материализма, что в центре внимания автора — становление характера молодого человека... Все это есть в повести о любви — произведении большом, остром, абсолютно искреннем и личном.

Сразу должен пояснить последнее определение. И среди вполне добротных с виду книг хорошо бы выделять две категории. Одни написаны преимущественно «про них», сторонним наблюдением, иногда очень точным и зорким глазом, острым слухом и памятью на интонации. Произведения, на-

писанные «про них», и рассчитаны на публику, на ее вкусы, иногда и на вкус «элиты». Искусство имитации искусства достигло высот необычайных. В любом редакционном самотеке теперь то и дело встречается крохотные прусты, фолкнеры и хемингуэи. Имитация стилей обязательно ведет к подделке жизни, и в ситуации «имитационного взрыва», который, в отличие от взрыва информационного, ничего хорошего не сулит читателю, совершенно необходимо уметь отличать книги, написанные «про них», от книг, созданных исключительно «о себе». А что если только по этой грани попробовать отличать беллетристику от литературы? «Анна Каренина», «Разгром» — это о себе.

Повесть «Затмение» прежде всего и в конце концов — история любви в той же мере, в какой «Анна Каренина» — семейный роман, движимый семейной, по выражению самого Л. Толстого, мыслью.

Эпиграф к своей повести Тендряков нашел среди берестяных грамот XV века — первое — и гениальное! — русское любовное письмо. На мой взгляд, без знаков препинания, расставленных в соответствии с современными правилами, это письмо читалось бы еще острее, но и так никто не усомнится, что лучшего девиза повесть о любви иметь не может.

«Пусть разгорится сердце твое и тело твое до меня и душа твоя до меня, и до тела до моего, и до виду до моего».

Поначалу, читая «Затмение», больше всего думаешь о «Весенних перевертышах». Павел Крохалев кажется самым близким род-

ственником Дюшки Тягунова, вроде бы даже это и сам Дюшка, выросший и попавший в ситуацию, которую жизнь посылает только натурам цельным, сильным и честным.

«Люблю — лучше относиться я уже не могу, на большую отзывчивость неспособен, это мой духовный предел, наивысшее выражение самого себя для других». Так решил совсем молодой наш современник, и в этом нет полемики с другими нашими современниками, а проявляется тот нравственный максимализм, который читатель волен принять или не принять, но не поверить Павлу Крохалеву в этом нельзя. Он такой. И еще думается, что максимализм нравственный — самый необходимый из всех. Впрочем, в максимализме Павла Крохалева есть и черты, таящие в себе неминуемость поражения после точно предсказанных и сбывшихся побед. «Я мальчишески самонадеянно верил — сделаю в жизни что-то большое, столь нужное людям, что мне будут ставить памятники после смерти, а деревня Полянка станет известна миру: здесь родился великий человек!»

Герою повествования, вслед за ним автору и мне, читателю, кажется значительным, что Павел Крохалев был «первым послевоенным ребенком в деревне», родился сразу после Победы. Может, только потому и родился этот человек, что кто-то приберег на весь его колхоз уже описанные Тендряковым «три мешка сорной пшеницы». Вскоре Пашка потерял отца, умершего от ран, полученных на войне, которую сын не застал ни на один день.

Маленький Крохалев однажды, идя полем из школы, вдруг осознает себя во времени; потрясенно понимает, что мир существовал, может и будет существовать без него. Именно тогда Павел задался вопросами, которые мучают человечество с тех пор, как человек осознал себя человеком. «Откуда я? Зачем я?»

Вот тогда у Павла Крохалева, голодного и кое-как обутого деревенского школьника с букварем в узелке, возникло предощущение того, что он живет для любви, для будущей избранницы.

Характерно, что ученый Павел Крохалев, как и школьник Дюшка Тягунов из «Перевертышей», как и многие другие герои Тендрякова, чувствует себя не только неотделимой частью человечества, но и частью Вселенной, ее времени и пространства. Вот почему проблемы космогонии, теории относительности и первопричины мате-

риального мира для людей, населяющих книги этого писателя, не абстрактные теории. Из физико-математической невозможности объяснить причину и конечную цель человеческой жизни герой «Апостольской командировки» бросает работу в научно-популярном журнале и кидается к молодому, невежественному и несчастному попу Володьке, дабы узнать у него, что есть истина. В той повести героя мучат, тревожат, гонят прочь из привычного круга жизни вопросы космогонические и гносеологические, в новой повести космическое событие — затмение Луны — не более чем знак, который становится метафорой. Метафора эта весьма многозначна, автор настаивает на ней, повторяет так же определенно, как описание лягушачьего концерта.

«Тяжкая путаная поросль овражного склона, казалось, висит в пространстве между двумя мирами. А ее черная пучина населена — нет, набита! — лягушками, мир застойной воды и мир неба кипят от влажных картовых голосов. Воздух клокочет, трещит, стонет, и в общем вселенском хоре выделяется один голос... Мы стоим на дощатом настиле, обнесенном шаткими перильцами. Мы парим над потусторонним миром, над нами мрачная бездна. А на самой середине выглаженной до зеркальности водяной тверди — пролитое тело Луны. Оно дышит, нервно вздрагивает и пожевывается — живет мучительно и неспокойно. Зато сверху на мчающуюся Луну смотрит другая Луна, плоская, чеканная, величаво спокойная. Ей-ей, не похоже, чтобы она собиралась затемняться, но к ней тянется узкое, отточенное, словно лезвие ножа, облако». (За эту длинную цитату я вовсе не хочу просить извинения.)

Календари нынче не врут, затмение, смотреть которое к мрачному омуту приехали из города влюбленные молодые люди, состоится. Оно будет двойным для героев повести, внезапно оказавшихся в гуще проблем, о существовании которых не подозревали. Тут и самые наивные и самые недобросовестные критики не смогут свести дело к тому, что виной гибели молодой семьи оказалась секта, возглавляемая Гошей Чугуновым, а еще, мол, вся беда в недостатках атеистической пропаганды в школах, вузах и по месту жительства. Тут дело в затмениях и прозрениях, которые суждено испытать каждому, кто живет жизнью духовной, кто честен перед самим собой. А именно таких лю-

дей любит, знает, понимает писатель Тендряков.

Цельность и целеустремленность Павла Крохалева, конечно же, имеют и оборотную сторону — ограниченность, узость его взгляда. Дитя голодной деревни в мечте о всеобщем счастье забывает про людей, живущих рядом, об их праве и потребности жить своей собственной духовной жизнью. Вынесение цели существования за орбиту дел обычных, повседневных, вызванных насущной необходимостью, — одно из величайших свойств человеческого ума, залог прогресса. Но нельзя не видеть, что в этом же вынесении цели жизни и критериев за орбиту повседневности лежит и одна из причин возникновения религиозного сознания. Не знает этого молодой ученый Крохалев, он, как и многие, мог бы сказать: «Мы диалектику учили не по Гегелю». А ведь именно диалектика характера главного героя больше всего увлекает Тендрякова, предчувствующего в Павле слабости, о которых пока не догадываются ни он сам, ни его близкие.

Никак не умаляя значения быта и даже не отрицая прав «бытописательства», должен отметить, что для Тендрякова и его героев быт — на втором плане, на первом — бытие. Это, возможно, главная черта сходства автора и его персонажей, это сходство и делает каждую книгу Тендрякова личной. У писателя и его героев общий пульс; думают они одновременно и об одном и том же, ответов ищут честных и ничего друг другу не подсказывают. Характерно: этот автор, которого часто упрекают в излишней концептуальности, внутри повествования вовсе и не пытается быть «умнее» героев. Единственно — он оставляет за собой право судить о них по прошествии времени, по итогам случившегося. Так и каждый человек может судить о собственных поступках, лишь оглянувшись назад.

Иногда писатель очень торопится понять увиденное им. Отсюда страстность, а то и запальчивость суждений. Но, может быть, именно поэтому В. Тендряков занимает свое особое место в литературе, часто вырывается вперед, оставляя оголенными свои фланги, и поэтому же бывает легко уязвим для наскоков сбоку. Но характер бойца и страсть исследователя ведут его от книги к книге. Не зря ведь он равно сохраняет все свои качества в теме деревенской, городской, школьной, атеистической и любой другой.

Забота о том, чтоб не «распалась» связь времен, всегда сос-

тавляла главную обязанность искусства. Нельзя не огорчиться, видя, как многолик и модерн, мода на импорт затрудняет и без того трудный путь к постижению русского классического наследия, способствуют размыванию нравственного императива, что стало характерно для западной литературы. Обывательское оправдание, будто в век теории относительности вообще не может быть неизменных истин, — плод невежества. Сама теория относительности основана на абсолютных. Новая повесть В. Тендрякова диалектична по сути своей, но пафос ее в утверждении абсолютных нравственных ценностей. Литературный процесс неделим, он носит поистине глобальный характер, и нельзя не беспокоиться, когда видишь новые вспышки эстетического экстремизма, безнравственного в своей основе, родившегося на основе бездуховности и ей же служащего. Опасно, когда на первый план выдвигается Свидригайлов, притворяющийся Достоевским.

...Для В. Тендрякова плохие люди — периферия жизни. Достаточной сложности и подлинных трагедий возникает между людьми хорошими. Может быть, и поэтому еще так важно то, что говорят его герои о себе, что они говорят друг другу. Когда Павел Крохалев, узнав, почему от него ушла жена, признается себе: «Я был ослеплен, раздавлен. Передо мной, словно вспышка сверхновой звезды, произошел катаклизм, величественный и всежигающий», — к его словам невольно прислушиваешься. Кстати, в ряду космических сравнений это, по-моему, самое сильное.

Но что же так поражает молодого ученого в пылкой исповеди бывшей жены? Оказывается, то, что она открыла для себя мир другой любви. Она рассказывает о своей любви к старухе уборщице, выгнанной из дома единственным сыном, она говорит о «любви к близкому» в самом тривиальном смысле, она рассказывает о новом своем избраннике, бывшем бродяге, который и до сих пор не имеет ни своего угла, ни пальто. «Ему от людей ничего, а он людям все: свое время, свои мечты, свои радости... Я, мама, теперь не одного люблю, я весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..»

Чугунов, как антипод героя, человек, к которому ушла Майя, в начале повествования возникает весьма значительно, разговор вокруг тарелки дармового супа предвещает Крохалеву сложности, о которых он и понятия

не имел. Знать бы, чем все кончится, не кормить бы того убежденного бездельника, а прогнать его, да еще вызвать бы милицию, проверить бы документы: есть ли у него паспорт и есть ли в паспорте прописка... Знать бы! Впрочем, Павел Крохалев и в самую плохую для себя минуту на такое не способен. Но вот следовало ли приваживать вокзального знакомого? Не пустить бы его в дом — и не было бы беды! В «Затмении» подобная логика исключена, ибо все, в повести происходящее, выражает закономерности сознания, а не случаи из жизни. Закономерности эти найдены методом художественного исследования, а не сконструированы на основе рационального прогнозирования.

Рационально мыслят и действуют в повести родители Майи.

Много таких вот вполне хороших и разумных людей, которые искренне думают, что все можно устроить, если поразмыслить здраво, подготовить, обставить, «обговорить». На худой конец даже подстроить. А вдруг тут-то и кроется причина того, что ко всему, выходящему за рамки чисто рационального и рассудочного, Майя относится с мгновенным доверием? Интересна и ее страсть к внутренним литературным реминисценциям, к цитатам из очень хороших поэтов. Впрочем, и для Павла литература занимает важное место в попытке осознать себя и понять других. Видимо, не беда литературы и не вина молодых интеллигентных супругов, что позаниматься все важнейшие жизненные координаты в одних только книгах им не удается. Ведь координаты надо самим **вырабатывать**.

Для Тендрякова и для любого непредубежденного читателя совершенно очевидно, что «затмение» произошло с Майей. И, пожалуй, самым серьезным обвинением против Майи представляется

ОТ РЕДАКЦИИ

Правомерен ли главный упрек В. Дудинцева в адрес новой повести В. Тендрякова: «стихия художественного образа и система рассуждений, схватившись, прямо-таки вонзили друг в друга мечи...».

Упрек этот звучит в спорах о всех или почти всех произведениях В. Тендрякова. Не обходит уязвимых сторон «Затмения» и К. Икрамов. Но он рассматривает «излишнюю концептуальность» повести, запальчивость суждений

то, как быстро и легко нашла она духовное успокоение. Как мало ей, оказывается, было надо. (Правда, судя по всему, до того она имела еще меньше.)

Итак, для Майи это — затмение, для Павла это — прозрение...

«Мы диалектику учили не по Гегелю». А жаль! Маяковский констатировал это, а не хвастался. В единстве и борьбе противоположностей разобраться не так-то просто и будущи философом, но пренебрегать изучением того, что являет нам реальная жизнь, упрощать то, что сложно, не слышать того, что вопиет, не глупость. Это элементарная недобросовестность.

Вспоминается такой случай. К секретарю большой комсомольской организации в одном из сибирских сел пришел известный в том селе пожилой баптист и попросил воздвигать на своего младшего сына. «Двадцать лет парню, единственный неверующий в нашей семье». Комсомольский секретарь этой просьбе, естественно, удивился и объяснил «папаше», что не дело комсомола агитировать за секту. Но отец уточнил свою просьбу: «Я не про это говорю. Это и у меня не вышло. Вы его хотя в комсомол вовлеките. Нельзя человеку без веры».

Простим этому сельскому жителю непонимание разницы между религиозной верой и научным мировоззрением. Мысль его понятна, и тревога объяснима.

Мировоззрение в определении практическом и функциональном — это то, что позволяет нам одни явления жизни считать случайными, другие — закономерными. Если выразиться чуть современней: такая система отбора, хранения и организации информации, которая позволяет одни факты относить к категории закономерности, а другие — к случайности. Сами факты для всех общие.

Открытие новых закономерностей в таком вечном, как любовь,

писателя не только как недостаток, нуждающийся в немедленном искоренении и существующий лишь вследствие странного невнимания писателя к советам критики, а как качество прозы В. Тендрякова, стремятся осмыслить сильные и слабые стороны повести, соотнося их с опытом творчества писателя в целом. Прав, на наш взгляд, К. Икрамов, связывая острогу повести с трепещущими проблемами, которые ставит писатель.

Думается, основательны некоторые претензии В. Дудинцева к

это и есть озарение Павла Крохалева. Он понимает причину затмения, происшедшего с Майей, он начинает видеть и то, что это затмение преходяще именно потому, что закономерно, но и на него самого находит затмение, которое, видимо, навсегда уже развею его с любимой. О причинах этого затмения молодой советский интеллигент будет думать за пределами повести, но и вовсе не подготовленному читателю видно: «Ох, напрасно Паша Крохалев ударил Гошу Чугунов! Ох, напрасно! Сколько бед от такого способа влиять на живую жизнь!»

«Дома на кухонном столе лежал оторванный листок календаря — 29 ноября, пятница. Сегодня полное затмение Луны...»

...Если бы он хоть имел такие же широкие плечи, как у меня. Нет, худ, тощ, никак не кулачный боец. Бил слабого! А я был всегда убежден: лучше его, заполненной, честней, добрей. Добрей?! И кулаком так, что хрустнуло».

«Затмение» — повесть о любви, а историю любви читать труднее, нежели любовную историю.

Я недаром начал статью со ссылки на Льва Толстого. Молчаливое сомнение в том, что литература есть учебник жизни, приводит порой к тому, что забывается сама проповедническая обязанность писателя, его пророческий крест. Очень плохо будет всем, если наши молодые современники перестанут понимать высокий пафос и глубинную художественность небывалого романа «Что делать?», если мы позволим себе и научим других забывать все то, ради чего великие писатели нашей земли писали свои книги.

...История любви Павла и Майи — произведение социальное, по-русски говоря, общественное, о нашем обществе, о нас с вами. О том, как мы любим, как будут любить наши дети.

Хорошо бы, как Павел, как Майя. Так же серьезно, так же ответственно.

героям повествования. Но, исходя из реальных противоречий произведения, В. Дудинцев в своей запальчивости умножает их, особенно в той части, где он пытается истолковать религиозные «искания» проповедника Гоши. Вряд ли можно согласиться с тем, что «Затмение» — своего рода продолжение «Апостольской командировки». Думается, и столкновение религиозного и атеистического мировоззрения не имеет того решающего значения для повести, которое придают ему В. Дудинцев.